От автора

Сказки братьев Гримм, старый потрепанный том. И тем дороже, что потрепанный. Неодиночество в чтении: соприсутствие автора, героев, других читателей.

Вместе с потрепанной книгой получаешь представление (быть может, додуманное, догадку, фантазию) о детях-внуках родительских и бабушкиных друзей и подруг, кому эта книга могла принадлежать. То есть вместе с книгой приходит первое впечатление о дружеском круге, в котором и дальних, еще не сидевших за одним столом что-то связует.

Примерно в середине тома — сказка «Гусятница».

Королевна, сосланная из-за интриг подлой служанки пасти гусей, проходит под воротами, где висит прибитая голова говорящего коня Фалады:

— Вот где висишь ты, конь мой Фалада!
— А ты, королевна, ходишь за стадом!
Если б об этом матушка знала,
Сердце б у ней разорвалось.

Что это было? Чем осталось для меня? Верой в безусловную материнскую любовь, что сохранит и вызволит даже из той беды, о которой королева-мать не знает, но которую предчувствует? Детской жаждой справедливости? (Разумеется, разговоры с головой коня будут подслушаны, изменница-служанка разоблачена, королевна сыграет свадьбу с принцем.) Чудом говорящего коня, сохраняющего разум, и память, и верность даже после смерти? Чудом самой этой верности?

С той поры и я — читатель.

Не в том ли необходимость и утешительность любимых писателей, что они остаются с нами — как «конь мой Фалада», как неумолчное истинное слово — и спустя много веков после своей физической жизни? Каждый автор, вошедший в эту книгу, — собеседник и друг (так названо эссе о Монтене, и это название подходит каждому). Друг, собеседник и утешитель.

Основную часть книги составили предисловия, написанные в первое десятилетие нынешнего века для соответствую-

щих томов «Библиотеки всемирной литературы» (издания, обновленного и продолженного в ЭКСМО под руководством доброй памяти Надежды Кузьминичны Холодовой). «О дивный перевернутый мир» написан для другой серии этого же издательства в 2021 году. И совсем недавно — два текста о Дитрихе Бонхёффере (в книге они объединены под общим названием «Необходимый фрагмент жизни») для обновленных изданий, вышедших в «Гранате».

Когда главки выстроились в цепочку от одиннадцатого века (Сэй-Сёнагон) до двадцатого (Томас Вулф, Евгений Шварц, Джордж Оруэлл и Дитрих Бонхёффер), оказалось, что писатели разных столетий и стран охотно вступают в разговор не только с нами, но и друг с другом: так, Томас Вулф подхватывает тему автобиографичности Гулливера, а Джейн Остен продолжает разговор о пользе романов ровно с теми же аргументами, какие мы слышали от современниц Сэй-Сёнагон. И в двадцатом веке отнюдь не только Евгений Шварц искал свои корни в старых, старых сказках.

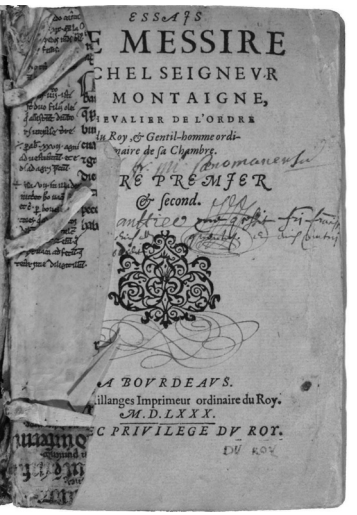
Само собой, книга о четырнадцати авторах из десяти веков не может быть ни путеводителем, ни литературоведческим исследованием. Это — разговор читателя с читателями. Разговор личный: в посвящениях, вступлениях, иногда непосредственно в самом предисловии присутствуют те, от кого я получила эти книги, с кем говорила о них, о ком, читая или перечитывая, вспоминала.

Говорящая голова коня — чудо, но оно пропало бы втуне, когда бы эти речи не подслушал пастушок или, подслушав, не пересказал. Наши разговоры о книгах, мне кажется, важная часть читательской работы по сохранению смысла, сбережению чуда.

Собеседник и друг

Мишель Монтень

Наталье Мавлевич, рыцарю надежды —
отчаянию вопреки.
В феврале 2014-го, подходя к Замоскворецкому суду,
я издали узнала три лица — «Три сестры, три жены,
три судьи милосердных», поет Окуджава — и подумала:
кому же ходить на суды, как не переводчицам. Наше
братство, наше сестринство, замешенное на вере
в понимание и сочувствие. Живущее надеждой на
свободное слово: свое еще можно писать в стол,
но перевод делается ради других. И да, любовь
изгоняет страх — насущная потребность быть вместе,
видеть лица друг друга.


ESSAIS
MESSIRE
CHEL SEIGNEVR
MONTAIGNE,
EVALIER DE L'ORDRE
du Roy, & Gentil-homme ordi-
naire de sa Chambre.
RE PREMIER
& second.
A BOVRDEAVS.
illanges Imprimeur ordinaire du Roy.
M. D. LXXX.
C PRIVILEGE DV ROY.
DV ROY.

Мишель Монтень (1533—1592) написал очень странную книгу. Настолько странную, что именовал ее не «книгой», не «произведениями», а «опытами», «упражнениями» (именно это французское слово превратилось в «эссе»). Он охотно занимался бы только самим собой, античными авторами и мелочами, из которых соткана жизнь. Любил свою провинцию и свой замок; в тридцать восемь лет оставил судейскую карьеру и закрылся в библиотеке. Не очень надолго: Мишеля Монтеня, одного из немногих во Франции умеренных людей, постоянно призывали посредником, а то и послом от одной враждующей силы к другой. Религиозные споры (но не войны!) происходили и в его собственной семье: мать была из рода недавно принявших христианство евреев; отец — католик, и Монтень сохранял верность религии, в которой был воспитан; сестра сделалась убежденной сторонницей Реформации, а племянница, дочь этой сестры, — католической монахиней и в итоге была канонизирована в 1900 году. (Главной ее заслугой стало основание первого ордена женщин, сосредоточенных на преподавательской работе.)

Читатель может извлечь из «Опытов» Монтеня много сведений о реалиях XVI века и еще больше изречений и стихов греческих и римских авторов. Но ценнее неизвлекаемое, неотделяемое: интонация. Интерес и к книге, и к жизни; вера без фанатизма и терпимость без попустительства; требовательность, но и снисходительность; отвращение к жестокости; живое человеческое разнообразие и внутри библиотеки, и за ее пределами.

В лето от Рождества Господня 1571, 38-ми лет, накануне мартовских календ, Мих. Монтанус, утомившись общественным служением, покуда здоров, удаляется в объятия ученых дев, дабы провести в покое и безопасности остаток жизни, от которой бóльшая часть уже пройдена, и, если судьба позволит, это сладостное убежище он посвятит своей свободе, спокойствию и досугу[1].

Во вступлении к первому изданию 1580 года Монтень предупреждает читателя: эта книга не имеет ни малейшего желания служить твоей пользе или моей славе. То есть книга — неправильная: для чего же и пишутся они, если не для писательской славы и читательской пользы?

Неправильная прежде всего постольку, поскольку неакадемическая. От глубокого знатока античных авторов и современных историков ожидали трактатов на философские темы (первое его опубликованное произведение — перевод большой богословской книги) или исторического сочинения (Монтень был вовлечен в центральные события своего времени, сначала как придворный и член провинциального парламента, потом — как советник королей и посредник между католиками и гугенотами). И трактаты, и мемуары — ценимые жанры тогдашней литературы, о чем мы можем судить хотя бы по обильным выдержкам у Монтеня. Все они оставляют достаточный простор для личного выбора и самостоятельного суждения, а также для примеров и анекдотов, которые он столь охотно рассыпает на своих страницах. Личная позиция и высказывания от первого лица не противоречат представлениям XVI века о правильной и полезной книге, как изобильные вкрапления латинских стихов и греческих афоризмов не противоречат представлениям о книге популярной и доступной. Дело не в материале, а в приемах его подачи, в отношениях автора с его текстом. Художественное произведение подпадает под каноны определенного жанра; трактат или мемуары предполагают жесткую тему и последовательное изложение. Это не под силу мне, заявляет Монтень. «Опыты», подчеркивает он, представляют собой нечто доморощенное: пишу о чем вздумается и как вздумается, подчиняясь не логике предмета, а разбросанным интересам, пришедшему в голову сравнению или повороту, движению души.

[1] Латинская надпись, высеченная по распоряжению Монтеня в его библиотеке.

Вот почему он не вправе рассчитывать на благосклонность читателя: дабы снискать ее, нужно было бы хорошенько подготовиться и «представить себя en une marche étudiée». Слово marche буквально означает «походка», но у Монтеня приобретает особый смысл: в эссе о воспитании он советует наставнику сначала присмотреться к «походке» ученика, к его склонностям, особенностям восприятия. «Походка» — не только стиль или последовательность рассказа, это естественное движение, личность «в чистом виде». Вместо объективности — заявленная, демонстративная субъективность. Отказываясь от marche étudiée, походки заученной и искусственной, Монтень движется в тексте, как в жизни, и, даже обозначив сюжет очередного эссе, рассуждает в итоге не о каком-либо универсальном вопросе, а о самом себе. Читателю нет причины интересоваться подобным предметом («я сам — материя своей книги»), а потому коротенькое вступление завершается уж вовсе парадоксально — расставанием. «Adieu donc», — говорит автор своему как бы несостоявшемуся, отвергшему эту книгу читателю. Прощай же.

А читатель в 1580-м, в 1980-м, в 2080 году жадно хватает эту книгу и находит в ней именно то, чего автор, как ему (искренне или нет) думалось, не в силах был дать. В первую очередь — ту самую ученость. Оказалось, что не благодаря трактатам и энциклопедиям, а как раз в таком непринужденном разговоре на всю жизнь запоминаются суждения древних мудрецов, яснее предстают характеры царей и полководцев. Все то, что составляло материю художественной и ученой литературы XVI века и приобреталось немалыми усилиями, легко и органично входило в неприкосновенный запас и читателей, и создателей новых книг через посредство Монтеня.

Монтеня растащили на цитаты из него самого и из процитированных им авторов. Впрочем, одно от другого отличить трудно. Органичное усвоение чужого приводило к тому, что Монтень, по собственному признанию, порой забывал, где что одолжил, а когда вспоминал, забавлялся тем, как позаимствованную им мысль критикуют, словно только что изобретенную ересь.

XVI век для Франции — век переводов. Помимо латинской литературы, читанной в подлиннике, Монтеню стали доступны многие греческие авторы (в первую очередь любимый Плутарх, но также романы, история Диодора Сицилийского)

в переводах его современника и друга епископа Жака Амио. Испанские и итальянские новинки (в основном в области современной истории и географических открытий) немедленно подхватывались и издавались по-французски. Значит, все это — и древние авторы, и новые источники — пользовалось спросом и воспринималось как нечто актуальное, востребованное. Почему же «из Монтеня» усваивать оказалось легче, нежели из глубоких и разнообразных книг, которыми пополнялась его библиотека?

В современной Шекспиру комедии «Вольпоне» пугающе образованная дама приводит Монтеня в качестве мерила, рекомендуя другого писателя, у которого «воровали, пожалуй, почти как у Монтеня». Две тысячи аллюзий на Монтеня выявлено в английской драме за полстолетия после издания «Опытов» по-английски в 1603 году.

Непринужденность, разбросанность, вопреки всем педагогическим установкам (также и нынешним), оказались действеннее, нежели привычный систематический склад, более способствовали самостоятельности читателя, активному восприятию. Вряд ли автор рассчитывал на такое изначально, хотя это не противоречило его интуитивному представлению о человеческом разуме. И личному опыту соответствовало: отец Монтеня до шести лет учил ребенка только естественным путем, через общение (так, разговаривая с иностранным учителем, он прежде французского усвоил латынь), и настаивал, чтобы мальчик занимался лишь тем, чем захочет. И вот уже в эссе о воспитании детей Монтень решается на обобщение, предлагая свой личный опыт и свои теории знатной даме, ожидающей первенца. Он тем более имеет на это право, что эксперимент Монтеня-старшего удался, и знаменитый шотландец Бьюкенен, будущий наставник принца Якова (сына Марии Стюарт), выспрашивал у Монтеня-младшего подробности, чтобы применить их в своей работе. Книга, написанная без мысли о пользе и славе, тут же понадобилась для воспитания следующего поколения читателей и для создания следующего поколения книг.

Английский перевод «Опытов», осуществленный Джоном Флорио под покровительством Саутгемптона, Сидни и Пемброка, основных спонсоров Шекспира, добавил в лексикон Великого Вильяма семьсот пятьдесят новых слов. С этим переводом в историю литературы прочно вошло обозначение но-

вого жанра — эссе, причем этот жанр стал восприниматься как преимущественно британский; многие поклонники Монтеня утверждают даже, что ему присущ особый английский юмор. Флорио в значительной степени усилил этот юмор: игру мысли, блеск логических парадоксов он передает игрой слов, всегда сочной, подчас на грани пристойности, его перевод стилистически куда ближе к монологам мудрых шекспировских шутов, чем подлинник. В Британском музее сохранился экземпляр издания с росчерком Шекспира и многочисленными пометками.

На британской почве эссе стало академическим жанром: студенты отчитываются о приобретенных знаниях в форме эссе, и главным образом оценивается не объем сведений, а индивидуальный подход и изящество формы. Стало эссе и законным жанром литературы, основными признаками которого считаются свободная форма и личное мнение, желательно еще — игра ума, столкновение противоречий; однако, вопреки Монтеню, такие «опыты» становятся «текстом о чем-то», вплоть до «Опыта о человеческом разуме».

Если мы задним числом будем воспринимать «Опыты» как «обычные эссе», мы упустим из виду главное: это — не «эссе», а «попытки». И не сможем оценить риск, на который шел Монтень. Не поймем, почему первые два тома, опубликованные в 1580 году, стали открытием и потрясением, почему Шекспир «после Монтеня» — совсем другой, чем «до». А хуже всего выйдет, если мы причислим «Опыты» к определенной школе или жанру: тогда слова о неправильной книге, предназначенной для узкого круга, не готовой угождать или приносить пользу читателю, покажутся кокетством или проформой. Мы так и не поймем отношений Монтеня со своей книгой и с читателем — с нами. Тот случай, когда новизна, открытие составляет не просто заслугу, которую следует отметить, но самую суть книги и ее автора. Новый жанр — новый (и для Монтеня единственно возможный) способ познания себя и общения с людьми.

Чтение книг Монтень называет лучшим из видов общения. Вокруг Монтеня собирается дружеский круг, и каждый в нем причастен бессмертию, как бессмертны книги. Мы узнаем в этих «Опытах» автора и себя, но всего важнее: мы узнаем друг друга. Со страниц этой книги с нами говорит не только автор — говорят его читатели.

Монтень изобрел новый жанр — случай почти беспрецедентный в истории литературы. «Отцам» различных жанров воздается почет: Эсхилу (но также и Феспиду) за трагедию, Гомеру за эпос, Геродоту за историю. Но Геродот был лучшим из работавших уже вторую сотню лет анналистов, за спиной Эсхила и Феспида стояла традиция хоров, и греки не сомневались в том, что «были и до Гомера поэты». Великое исключение (в свете которого мы лучше увидим исключительность Монтеня) — сократический диалог, философский диалог Платона. Только что-то небывало важное и глубоко личное приводит к открытиям таких масштабов.

Конечно, и «Опыты» возникают не на пустом месте. В качестве очевидного прототипа искусства *коснуться до всего слегка* называют «Моралии» Плутарха (не случайно же они порой издаются с анахроническим названием «эссе»). Монтень с восторгом пишет: нет такого предмета, которого Плутарх не затронул хотя бы мимоходом, его ученость и точность суждения и вместе с тем легкость не знают себе равных. Это наиболее цитируемый, любимый писатель, и Монтень готов подражать его стилю, его ровному тону, его изяществу. Влияние Плутарха обнаруживается и в частых примерах и сопоставлениях, и в манере письма: в свободном переходе от одного предмета к другому и в явственном присутствии автора, о чем бы ни шла речь. Однако конкретной формы, жанровых признаков эссе (даже в широком смысле, не говоря уж об уникальных особенностях «Опытов») мы здесь не отыщем. На самом деле под именем «Моралии» объединены все произведения Плутарха, кроме «Сравнительных жизнеописаний». Тут имеются и речи, и трактаты, и послания, и такие более специфические жанры, как «утешение» или «симпосий» (застольная беседа). Некоторые разновидности «Моралий» представляют собой выписки на определенную тему: *placita*, то есть избранные места из философов, а также изречения царей, героев, полководцев и «анекдоты» — апокрифические рассказы из жизни великих людей.

Такой античный жанр, тематические коллекции отрывков, афоризмов и анекдотов, получил развитие в эпоху Возрождения — эта эпоха во всей полноте достигла Франции лишь в царствование Франциска I, начавшееся незадолго до рождения Монтеня и захватившее его детство и отрочество. Вероятно, чего-то в таком духе Монтень первоначально и ожидал от себя.

В первом томе «Опытов» следы подобного замысла еще заметны. Здесь явственно выделяются несколько тем. Во-первых, идет разговор о различных склонностях души: о скорби и праздности, о стойкости и дружбе, об умеренности. Названия (как мы убедимся — только названия) этих глав выглядят вполне традиционно. Во-вторых, описан круг обязанностей, связанных с «общественным служением» автора: предосторожности во время переговоров, поведение послов, придворный церемониал. В-третьих, конечно же, древность: «О старинных обычаях», а также и о современных. В-четвертых, и это опять же естественно, Монтень затрагивает проблемы педагогики. Наконец, ряд текстов указывает на приверженность автора философии и даже определенному набору философских тем: «О ненадежности наших суждений», о различиях в восприятии блага и зла, о воображении и искажении, о том, что одни и те же причины могут вызывать противоположные следствия, а различные средства — приводить к одной и той же цели. Вот и основание причислить Монтеня к последователям Пиррона, то бишь к скептикам.

В какой мере Монтень принадлежал к одной из сложившихся философских школ или разрабатывал собственное учение, сказать трудно, если уж специалисты за четыреста с лишним лет не договорились между собой. Относительно возможностей человеческого разума (особенно в горних областях) он разделял сомнения Пиррона и всячески подчеркивал ограниченность нашего познания и неправомочность категорических суждений, хоть мы к ним и склонны. Однако основному резону скептиков — разные люди воспринимают и рассуждают по-разному, а потому ни чувства, ни мысли нельзя считать достоверными, Монтень придает неожиданный поворот: так почему бы не довериться своим чувствам и мыслям, поскольку они истинны для меня, а другие ничуть не более заслуживают звания правильных. Довод скептиков становится аргументом не в пользу воздержания от суждения, а в пользу максимального индивидуализма и — терпимости. Раз в делах божественных человеческий разум бессилен, какую справедливость можно усмотреть в преследовании еретиков?

Но скептики устраивают Монтеня, пока речь идет о разуме. Коснувшись добродетели, он тут же перейдет в разряд стоиков, над чьими категорическими суждениями охотно смеялись пирронисты. А призывы следовать своей природе, це-

нить физические удовольствия, жить частной жизнью подозрительно отдают эпикуреизмом, презираемым и стоиками, и любимым Плутархом. За божественные дела Монтень берется редко, но уж если всерьез (как в огромной «Апологии Раймунда Сабундского»), то запутывает читателя до такой степени, что одни воспринимают эту главу как исповедание веры (искреннее или с целью обезопасить свою книгу), а другие — как отказ от веры в пользу разума и все благочестивые слова предлагают толковать как сугубую иронию (мол, понимай наоборот).

А сколько раз Монтень сам себе противоречит, подчас в одном и том же эссе! Как охотно высказывает доводы «за» и «против»! Это бы ничего, нормальный риторический прием, — но он тут же припутывает третьи и четвертые соображения, не совсем понятно, какое отношение имеющие к делу, отступает в сторону, возвращается к прежней мысли, но вроде бы уже совсем с других позиций. Когда эти позиции успели измениться, мы и не заметили.

Неустойчивость позиции, возможность принимать разные и даже противоречивые точки зрения, постоянная изменчивость — эти качества Монтень утверждает и формулирует как главную особенность своей книги, как тот самый изъян, который делает ее такой неправильной, такой необычной и новой.

Изложение разных точек зрения можно было бы отнести как раз на счет академической добросовестности — если б их излагали последовательно, а не согласно симпатиям и антипатиям автора или по мере того, как очередные примеры и доводы приходят ему в голову. Синтез философских учений опять же вполне допустим, если это синтез («Он догматы Пиррона сочетал с учением Христа» — легендарная надпись на могиле Монтеня), а не произвольное выхватывание того, что автору ближе в тот или иной момент.

Мельтешение сюжетов, перескакивание с одной темы на другую внутри одной главы (вплоть до полного несоответствия названия и сюжета, как в главе о видах транспорта, которая вылилась в страстное обличение испанских злодейств в Новом свете) — это можно было бы счесть интересным художественным приемом, известным уже в поздней Античности: чтобы не утомить читателя, рекомендовалось чередовать темы, стили, способы подачи. Однако Монтень с самого нача-

ла заявляет, что меньше всего печется об интересах читателя, а потом не раз признается, что непоследовательность и пестрота изложения соответствуют прихотливому течению его мыслей. Такая уж у него «походка».

Иными словами, ведущий принцип книги — сам автор с его пестрой и изменчивой душой. И вот это, конечно, странно. Странно, что книги, цитаты пошли в ход не для просвещения или развлечения читателя, не для построения своей философской системы, а для бессистемного разговора о себе «каков я есть». Правила нарушены — и здесь мы уже видим признаки нового жанра.

Исторические примеры и поэтические цитаты впитывались из Монтеня прямиком в кровеносные сосуды культуры не потому, что он понадергал оттуда и отсюда и подготовил хрестоматию — хрестоматий и без него в тот век хватало. Монтень приводит лишь те строки, что важны ему лично, те, которые чем-то его задели. Он говорит с читателем на одном языке, говорит с ним как читатель, подает пример любви к чужому тексту, и тот стих или та мысль, которые показались бы ценными «вообще», однако ненужными «лично мне», становятся необходимыми — поскольку они дороги Монтеню. Он выстраивает отношения каким-то непривычным способом — не от себя к читателю, а от читателя к себе, который тоже читатель. Это книга-читатель, и она формирует читателя по своему образу и подобию.

Конечно, превращать самого себя в «материю книги» не так уж ново. Очевидны два великих предшественника Монтеня — Августин и Марк Аврелий. Есть все основания сравнить его книгу с «Исповедью» Августина и дневником императора-стоика. Монтень часто называет свой текст *confession* или *profession*: первое слово означает «исповедь», то есть признание или покаяние, второе — «исповедание», утверждение своей веры или состояния души. В такой перспективе он может показаться даже недостаточно смелым: Августин до дна обнажает душу, царственный философ Аврелий предъявляет к себе жесточайшие требования, а наш автор не кается и не стремится к совершенству, из жизни рассказывает больше какие-то пустяки (например, что может по десять часов удерживаться и не отправлять малой надобности), а о склонностях своих говорит (опять-таки!) не систематически, а к слову, к цитате. Оно бы понятно, будь он человек сугубо книж-

ный. Однако Монтень — активный участник («актер», как говорили и он, и Шекспир) своей эпохи, человек со статусом. Ни внешняя, ни внутренняя его биография не сводятся к прочитанным книгам, и если, говоря о себе, Монтень обращается к чужим текстам, а приведенная цитата вызывает желание поведать что-то глубоко личное, то здесь нужно искать причину более действенную, чем скрещение двух литературных традиций — «выписок» и «автобиографии». Да, после Монтеня жанр эссе как раз и превратится в способ личностной подачи общезначимого материала — Монтень показал способ увлекательно рассуждать на самые разные темы, и этот способ тиражируется. Однако сам он заявляет своей единственной целью изучить себя и таким образом изучить Человека. Общезначимое — книги — для него та почва, на которой только и возможен личный разговор.

Исследование самого себя и человеческой природы в себе, открывшееся непостоянство, «негероизм» этой природы, ее неисчерпаемая сложность, парадоксальное и мучительное сочетание высокого и низкого... От Монтеня ведет свой род уже не средневековый европеец, но частный человек, пытающийся сохранить то, что объединяет его с другими людьми, — веру, традицию, патриотизм, идеалы — и вынужденный пропускать все это через себя, брать на себя ответственность, потому что никто другой за него не отвечает. Многие отождествляют Монтеня с Гамлетом — не совсем справедливо, конечно же, ведь персонаж, пусть и созданный гением, никогда не сравнится со всей полнотой реального, непрерывно изучающего себя человека. И все-таки: «Век вышел из сочленения — и я рожден его вправить». «Порвалась связь времен» — русский перевод «Гамлета», пожалуй, ближе к Монтеню, как английский перевод Монтеня — к Шекспиру.

Век-то и впрямь свихнулся. Раскол западного христианства окончательно оформился, и вера, которая прежде воспринималась как данность — для всех, превращалась в индивидуальный выбор. Это само по себе мучительно, к тому же внутренние проблемы осложнялись и заслонялись внешними. Англия перед рождением Шекспира прошла через насильственную реформу Генриха VIII и контрреформацию его старшей дочери, Кровавой Мэри, затем твердой рукой второй дочери — Елизаветы — была возвращена к протестантизму. Вера стала вопросом не только совести, но и выживания.

«Соседний нам остров трижды за последние десятилетия менял веру», — не без сарказма пишет Монтень. Тысячелетняя вера, отменяемая прихотью влюбленного монарха. Закон, по которому человека сжигают за «старую» или за «новую» веру, то есть за преступление, которое вменилось бы ему в заслугу десятью годами ранее или десятью годами позднее (либо, как в Германии, в соседнем городе). Тридцатилетняя война, обезлюдившая Германию, и гражданские войны на «соседнем острове» придутся на следующий век. При жизни Монтеня тяжелее всего доставалось его отечеству, Франции. Религиозные распри тянулись сорок лет, с 1562 года и до исхода столетия. Историки выделяют девять отдельных «войн», но между сражениями, в пору худого мира продолжались и местные беспорядки, и судебные расправы — те самые, к которым по должности члена парламента, то есть верховного суда, был причастен Монтень и которые в первую очередь вызвали у него неприязнь к общественному служению. Не умозрительное, не книжное неприятие, а ужас человека, вынужденного в силу своих обязанностей приговаривать к смерти слугу — лишь за то, что необразованный парень полагался в вопросах веры на авторитет своего хозяина, «студента из Тулузы». Монтень и сам учился праву в Тулузе и помнил, как легко подцепить ересь в былой столице альбигойцев.

Да ведь и его книга балансирует на грани: издав «Опыты», Монтень повез их в Рим за папским одобрением: проще, тем более вооружившись королевской рекомендацией, получить благословение папы, чем спорить с Сорбонной. А спустя сто лет, в пору торжества «правого» католичества, его тома внесут в индекс запрещенных книг. В одном эссе у Монтеня вырываются страшные слова — страшные для человека, постоянно говорящего о своем отвращении ко лжи, о нежелании лицемерить, о стремлении изобразить себя «нагим и во весь рост»: из-за одной мысли о суде, пишет он, обо всех этих тяготах, проволóчках и унижениях, которые были бы мне страшнее костра, я причинял себе огромный ущерб и не говорил по совести.

Век не оставлял его в покое и призывал «вправлять сустав». Он и вправлял, как мог. Через год после того, как Монтень удалился в свою библиотеку, его вырвали из уединения, призвали участвовать в мирных переговорах. Переговоры закончились политическим союзом: свадьбой принцессы Марга-

риты (прекрасной Марго) с главой протестантов Генрихом Наваррским. Брак обернулся Варфоломеевской ночью. Мы многого не знаем. Не знаем, каким бременем легла на душу Монтеня Варфоломеевская ночь, не опасался ли он, что слишком увлекся надеждой на примирение и заразил этой надеждой других, тех, кому следовало поостеречься. Но вот что важно: и природная склонность к уединению, и горький опыт общественного поприща не превращаются в эскапизм. Напротив: по его понятиям, уклониться от войны в собственном отечестве человек не вправе.

Очередная война — и очередные переговоры. И так еще двадцать лет. До последних дней своей жизни, страдая от камней в мочеточнике, полуоглохший, Монтень садится в седло (он гордился своей выносливостью всадника) и спешит передать очередную весть.

Его «кодекс чести», а вернее сказать — «кодекс совести», делает его единственным, быть может, человеком во французском королевстве, кто способен хотя бы поддерживать общение между противниками, уберегая страну от хаоса и невозможности примирения.

Как ни удивительно, столь бесценную службу общему делу служит индивидуальная этика. Принимая на себя поручения, Монтень честно предупреждает: не посвящайте меня в свои секреты, не вовлекайте в интриги. Если мне суждено стать орудием предательства — а такое вполне возможно, когда через меня передают врагу приглашение и сулят безопасность, а потом это обещание нарушают, — пусть я стану им без своего ведома и согласия. По собственному выражению Монтеня, в своей лояльности кому бы то ни было он готов зайти не далее, чем «*до* костра», и будет счастлив, если посреди всеобщего смятения замок Монтень уцелеет (замок свой он оберегал своеобразно: оборонительным сооружениям, которые в ту пору строили все, предпочитал широко распахнутые двери: «Я не хочу ни бояться, ни спасаться наполовину»).

Его нейтралитет во время раздиравших Францию гражданских войн не был позицией «над схваткой», не был и себялюбивым равнодушием. Едва ли вообще правильно именовать это нейтралитетом. Крайние представители обоих лагерей видели в Монтене врага («для гвельфа я был гибеллином, для гибеллина гвельфом»), и обе стороны видели в Монтене самого подходящего человека, когда требовалось прийти к компро-

миссу. Монтень различал правоту и неправоту обеих сторон — именно там, где сами они предпочитали ничего не замечать.

Особенно нестерпимой для многих была его веротерпимость. Монтеня часто именуют скептиком, агностиком, атеистом. Трудно сказать: он был, как теперь бы выразились, «практикующим католиком», то есть обряды исполнял и при очередном приступе болезни спешил причаститься. Вслед за Геродотом Монтень повторяет, что для каждого лучшие обычаи — те, в которых он рожден. Отсюда многое следовало, и не только умопостигаемая относительность абсолютных истин, но и нечто существеннее: ненавязывание своей истины. Сосуществование множества религий в мире — не доказательство человеческой глупости и ошибочности всех вер, как вышло бы у скептика, и не заведомая истинность одной религии с правом истреблять прочие, как у фанатика. В общем-то, Монтень особо не сомневается в истинности католической веры — для католиков. Он бы только хотел, чтобы и другого человека с его верой оставили в покое и безопасности.

Поскольку во всем Монтень стремился быть в согласии со своей природой, толерантность его тоже можно считать природной и даже наследственной. Удивительным в этом смысле человеком был его отец, Пьер Эйкем.

Надо напомнить, что Мишель Эйкем де Монтень не был так уж знатен. Замок приобрел в 1477 году его дед или прадед, Рамон Эйкем, купец, который успешно торговал с Англией вином и рыбой. Так семейство обзавелось дворянской частицей «де». Отец же Мишеля вполне мог отнести себя к «дворянству мантии», поскольку избирался мэром Бордо, и даже к «дворянству шпаги» — ведь он послужил отечеству в блестящих и малоудачных итальянских кампаниях Франциска I, откуда принес домой увлечение латынью и Возрождением, а также новыми педагогическими идеями. Немецкоязычный гувернер общается с его сыном на латыни, затем мальчик поступает в пансионат Бордо, который возглавляет испанец Андре ле Гувеа («лучший директор во всей Франции») и где преподает шотландец Бьюкенен.

Любопытная черта в характере Пьера Эйкема, о которой сын, живущий в более грозную эпоху, не решается говорить подробнее: отец Монтеня, по-видимому, был не просто на редкость толерантен в национальных и религиозных вопро-

сах — его прямо-таки тянуло к людям иной крови и веры. Если учителей-иностранцев еще можно объяснить практическими соображениями, то женитьбу на «новой христианке» Антуанетте Лопес подобными резонами не объяснишь.

В 1492 году Фердинанд и Изабелла изгнали евреев из Испании. Многие из них нашли убежище в Португалии, но в скором времени португальский король также потребовал от них креститься или покинуть страну. В эссе с длинным названием «О том, что наше восприятие блага и зла в значительной мере зависит от представления, которое мы имеем о них» Монтень описывает, как евреев принуждали отречься от веры, отнимали имущество, разлучали с детьми, обращали в рабство. Те, кому удалось спастись, добрались до южной Франции. Здесь, на границе романских и германских племен, на разломе реформации и католичества, чужаки обрели приют. Многие из них принимали христианство, чаще всего протестантизм. Это было не так унизительно, как в Испании или Португалии, — все-таки полудобровольный выбор — и не так опасно: протестанты, в отличие от католиков, не докапывались, в какой мере новообращенные прониклись верой, не посылали на костер, заподозрив в отступничестве.

Даже если Антуанетта Лопес не держалась за свои иудейские корни (многие втайне пытались это делать), она, во всяком случае, была не католичкой, а протестанткой, гугеноткой. Родители Мишеля Монтеня принадлежали к разным христианским конфессиям, которым на глазах у автора «Опытов» предстояло сойтись в смертельной борьбе. Сам он, как и отец, вырос католиком. Среди его близких родственников были протестанты. Подобный расклад имелся тогда во многих семьях и не всегда способствовал терпимости. Междоусобный раздор ожесточеннее «обычной» войны. Но в семье, пусть подспудно, жила память о гонениях, и спор о «древней» и «новой» вере для Монтеня оборачивался еще одной стороной.

Обсуждать такое впрямую невозможно: эта тема принадлежит к числу тех «запретных», из-за которых приходилось «наносить себе ущерб» и не говорить по совести. Монтень написал выразительные страницы о судьбе португальских евреев, «спрятав» эти страницы в эссе о неоднозначности нашего восприятия блага и зла и сославшись на свидетельство очевидца — епископа Озория. Сан подчеркивается: не еретик ка-

кой-нибудь, иерарх. Более откровенен Монтень в неподцензурной рукописи дорожного дневника. Путешествие через Германию и Швейцарию в Италию было предпринято в 1580—1581 годах, сразу после издания первых двух томов, и отправился писатель в столь далекий путь, отчасти чтобы представить книгу папе и тем самым обезопасить ее, отчасти — чтобы полечиться водами: камни в почках и подагра, которые спустя тринадцать лет сведут его в могилу, впервые дали о себе знать. Дневник суховат, каждый день в нем фиксируются проделанный путь и принятые лекарства, что странно для человека, клявшегося в своей ненависти к медицине (впрочем, минеральные воды он запивает белым вином). Опубликовали дневник только в XVIII веке, сам же автор его для печати не предназначал, а потому без оглядки писал о том, как наведался в гетто посмотреть обрезание: «Я присутствовал при исполнении древнейшего обряда». Ходил он и в особую церковь, куда по воскресеньям насильно сгоняли евреев слушать проповедь, понуждали креститься.

Древнейшая вера, дарованная Богом — чего и сами христиане отрицать не могут, — загнана в гетто, подвергается унижениям, отвергнута. Достаточно ли этого, чтобы усомниться в истинности веры, в человеческом разуме и устройстве общества? Достаточно ли — чтобы усомниться в себе?

К евреям он себя не причисляет. Может быть, было бы легче, если б причислял: предъявил бы счет от лица гонимых. Проще было бы — если бы признал себя гонителем и за это принес покаяние. Увы, ни вина, ни страдания по национальному или другому корпоративному признаку не делятся. Когда Монтень предъявляет счет, то не за евреев, а за индейцев. И предъявляет счет в том числе и самому себе: «Что сделали мы с этим Новым Светом, еще вчера невинным...» Кто мы — испанцы? Католики? Европейцы, христиане? «Мы» — люди. «Я — человек, и ничто человеческое мне не чуждо», — сказал герой Теренция, и повторялось это на все лады, дружески, жизнеутверждающе или с претензией на вседозволенность. Но если ничто человеческое — значит, и человеческое страдание, и людская вина. А мы все еще живем в мире, где каждый день кто-то изымается из «человеческого».

Общественная жизнь не отменяется. Она, как и вера, превращается в личную ответственность. И если в общем деле Монтень мог принести огромную пользу именно в силу инди-

видуального выбора и осознания своей личности, то при исследовании самого себя отсутствие, разрушение общепринятых понятий стало главным камнем преткновения.

И Марк Аврелий в своих записях, и Августин в «Исповеди» опирались на неколебимые, общепризнанные ценности. Стоическая философия поддавалась четким формулировкам, и Марк Аврелий сверял себя с ней, а также с примерами отцов и дедов. И Августин испытывает себя как христианина, а что такое вера и какое место она занимает в жизни — в ту пору таких вопросов не было. Проблема не в том, надо ли жить согласно этим идеалам, а в том, чтобы научиться им соответствовать. В сущности, и Марк Аврелий, и Аврелий Августин — такие же сложные и противоречивые люди, как Монтень, они обнаруживают в себе подчас и более непростительные слабости (тем более что Монтень — человек частный, а эти двое — император и пастырь), они тоже меняются и с огромным любопытством следят за развитием своего характера, тема воспитания и естественных склонностей человека им столь же близка и по той же причине. Отличие в том, что, говоря о себе, философ и святой постоянно соотносят себя с чем-то бóльшим и общим и через это общее могут познавать себя и открываться другим. У Монтеня такой возможности нет. А значит, для него невозможно уединение.

Философ или аскет могли познавать себя как отражение чего-то высшего, как часть некоей целостности. Это осуществимо «наедине с собой», как точно озаглавлен в русском переводе дневник Марка Аврелия. Монтень же познать качества собственной души, оттенки своего характера может лишь в столкновении с другими индивидуумами. Вот почему он говорит о себе через книги. Его книга, как и он сам, осуществляется в диалоге.

При определенном сходстве «Опытов» с текстами Аврелия и Августина принципиальное отличие в них — адресат. Философ беседует с самим собой, христианин — с Богом. «Опыты» живут для читателя.

Обращенное к читателю вступление с точки зрения тогдашних норм странно, чтобы не сказать — нелепо. Признание своих недостатков и слабостей можно было бы счесть формулой приличествующей автору скромности, однако такие формулы встречаются в посвящении знатному покровителю, а не в обращении дворянина к публике. И если эта фраза повыша-

ет рядового читателя до патрона, то предшествующая — «я нисколько не забочусь ни о твоей пользе, ни о своей славе» — столь же непривычно обижает его: с каких это пор авторы позволяют себе пренебрегать читателем? Монтень тщательно объясняет свое желание во всех подробностях поведать о себе, представить себя в наготе (еще одна интересная оговорка: «если б наши обычаи это одобряли» — стало быть, он все-таки считается с обычаями), работать в определенной манере, и когда читатель уже вполне осознал, что за книга перед ним, вник в замысел автора, ему вдруг заявляют: впрочем, у тебя нет причины этим интересоваться — прощай же.

Даже в этих немногих строках отношения с читателем успевают несколько раз поменяться.

Что же означает это «adieu»? Поскольку Монтень о славе не заботится (и в этом мы верим ему на слово), то не беспокоится и насчет большего или меньшего количества читателей. Нужен ли ему хоть один? Покуда книга пишется — несомненно. Даже там, где нет прямых обращений, сама напряженность интонации подразумевает диалог — а с кем же, если не с тем, к кому обращено вступление? Чтобы познать себя, Монтень нуждается в присутствии другого, и этот другой должен разделять его чувства, любить те же книги. Ему нужен друг — «единая душа в двух телах».

Его alter ego, Этьен де Ла Боэси, умер в 1563 году, задолго до того, как Монтень приступил к «Опытам». Двадцать девять сонетов Ла Боэси Монтень поместил в первом томе своих эссе вслед за главой «О дружбе». В книге возникает диалог с ушедшим другом, как есть в ней разговор с будущей матерью («адресное» эссе «О воспитании») и дискуссия с книгой, которой сам Монтень помог появиться на свет (с переводным трактатом Раймонда Сабундского); есть непрерывный диалог с многими авторами, в том числе современными, — впрочем, Монтень подчеркивал неоднократно, что в мире книг все живы. Но кто же Читатель? Пытаясь передать алхимию своих отношений с Этьеном, Монтень пришел к почти косноязычию: «Потому что это был он, потому что это был я». «Был я» — потому что «был он»? И оставшемуся без другого «я» приходится самому становиться «другим», чтобы состоялось свое «я»?

В первую очередь читатель Монтеня — сам Монтень. Понуждение записывать свои мысли «не для себя» возникло из

опасения, что иначе мысли останутся недодуманными. Такую необходимость он осознал не сразу: в начале своего творческого досуга хотел просто читать и дать волю памяти и фантазии, но оказалось, что подобная внутренняя работа без внешней бесплодна. И записывать кое-как, «для себя» — немногим лучше. А потому написана эта книга действительно так, как хочется автору, без мысли о читательской пользе или об интересе, и все же не без мысли о читателе. Более того: для той задачи исследования самого себя, которую ставил перед собой Монтень, ему самому предстояло еще превратиться в «другого», перечитывая этот текст.

Он подшучивал над собой: дескать, изменчивость характера и забывчивость приводят к тому, что собственный текст он перечитывает, не зная, на что натолкнется в следующей строке, и споря с уже написанным. После первого издания 1580 года «Опыты» выходили снова в 1588-м с добавлением третьего тома и со многими вставками (в основном — личными комментариями). Это последняя прижизненная публикация, однако Монтень продолжал перечитывать книгу, работать над ней, оставляя свои замечания и на полях, и в рукописи. Через два года после его смерти, в 1595-м, мадемуазель де Гурне, его «приемная дочь», издала три тома, сверенные и дополненные по рукописи. А позднее среди книг, подаренных библиотеке города Бордо, обнаружился экземпляр с авторской правкой, и этот «Бордоский экземпляр» также используется для последующих изданий. До конца жизни Монтень продолжал свои опыты, принципиально воздерживаясь от вычеркивания и вписывая рядом со старыми новые мнения, подчас противоречащие прежним.

Спустя полвека в «Мыслях» Паскаля появится обозначение «кружок Монтеня» — отсылка к записям самого Паскаля на полях «Опытов». Кружок Монтеня — запись на полях, от которой расходятся новые круги. Читательский круг, порождающий новые дружбы.

Ни о ком из своих друзей, кроме Этьена де Ла Боэси, Монтень не рассказывает подробно, однако все это были замечательные люди, например философ и сторонник орфографической реформы Жан Пелетье, не раз побывавший в замке де Монтень, или великий переводчик Жак Амио. Под конец жизни Монтень обрел пылкую поклонницу в лице мадемуазель де Гурне, которая станет одной из главных поборниц прав

женщин в своем веке. Хотя Монтень последовательно отводит женщинам подчиненную роль, будущая феминистка совсем еще юной девушкой читала его книгу взахлеб — как открытие, как приглашение в тот лучший мир, где она сможет вполне реализоваться. Прежде чем стать автором и теоретиком движения, она стала читателем чужой книги, а затем — издателем.

«Потому что это был он, потому что это был я». Потому что он — это он? Потому что «другой» обладает собственной индивидуальностью, непредсказуемой, не заданной общими правилами, и может — если захочет — стать другом, стать читателем? Каждый человек — читатель Монтеня.

Во вступлении Монтень несколько раз повторяет, что цель его книги — «частная и домашняя», предназначается она «родным и близким», чтобы помочь им припомнить индивидуальные черты автора после его смерти, «которой уже недолго ждать». Не означает ли это, что и мы, читатели, входим в круг «родных и близких»?

Монтень у каждого свой и у каждого — чей-то. Мы получаем его из дружеских рук, мы делимся им, как тайной свободой.

«Монтень... он был со мной в самый тяжелый минуты», — сказала мне Сильвия Нейгауз, незадолго до смерти подарив «своего Монтеня». Уроженка Швейцарии, она с детства одинаково свободно владела немецким и французским, читала на латыни и самостоятельно учила английский. А вот по-русски, даже прожив полвека в СССР (приехала в начале тридцатых строить коммунизм и вышла замуж за нашего великого пианиста), — по-русски упорно делала ошибки в роде и числе. Иногда мне казалось — нарочно, как любимый и ею, и мною, и Монтенем Плутарх недоучил латынь, язык власти.

Для человека, любившего книги так, как любил их Монтень, не только текст важен, но и облик тома: бумага, шрифт, переплет. Три томика в бумажном переплете издательства «Галлимар» 1965 года. Уже рассыпаются, много раз перечитанные «в самый тяжелый минуты». На обложке первого тома портрет немолодого остролицего мужчины в черном берете и кружевном воротнике, похожего скорее на испанца. На обложке второго — замок де Монтень. На обложке третьего тома — библиотека. Пожар, бушевавший в замке уже после смерти писателя, пощадил ее.